Вспоминая моих несчастных шлюшек

Автор:
Габриэль Маркес

Вспоминая моих несчастных шлюшек

Габриэль Гарсия Маркес

Повесть о поре, когда желания еще живы, а силы уже на исходе, – и о странной, почти мистической любви, настигшей человека в конце бездарно прожитой жизни, полной унылой работы и пошлого, случайного секса.

Любовь, случившаяся теперь, гибельна и прекрасна, она наполняет существование героя новым смыслом – и позволяет ему на мгновение увидеть без прикрас и иллюзий всю красоту, жестокость и быстротечность бытия…

Габриэль Гарсиа Маркес

Вспоминая моих несчастных шлюшек

Он не должен был позволять себе дурного вкуса, сказала старику женщина с постоялого двора. Не следовало вкладывать палец в рот спящей женщины или делать что-нибудь в этом же духе.

Ясунари Квабата. Дом спящих красавиц

От переводчика

Книга Габриэля Гарсии Маркеса называется «Memorias de mis putas tristes». Испанское слово «puta», означающее «продажная женщина», – нецензурное, срамное. Почему Гарсиа Маркес, большой писатель, замечательный мастер слова, вынес в заглавие это грязное ругательство? Я думаю, дело в том, что герой, вспоминая своих не таких уж скверных, а скорее несчастных женщин, с которыми он имел дело, определяет этим словом свою жизнь, бездарно растраченную на безлюбый секс, не затрагивающий души. Этот заголовок – вопль о пропавшей жизни, в которой утехи плоти оказались самоцелью, а безлюбый секс, по выражению автора, – «утешение тех, кого не настигла любовь».

Мне кажется, что горечь этой книги еще и в том, что большой художник уловил симптомы болезни, поразившей не просто отдельную личность или поколение, но наше время, а может быть, даже и цивилизацию. Он словно увидел из своей Колумбии вереницы молоденьких девушек, стоящих на обочинах шоссейных дорог и на уличных углах во всем мире. Это не жрицы любви, нероскошные куртизанки, немодные путаны и даже не бывалые проститутки. Это – блядушки, молоденькие, заблудшие девчонки, потерявшие всякие ориентиры в жизни и не умеющие примирить свои унылые, полуголодные будни с гламурными картинками в телевизоре. Они еще не знают, какую страшную цену им придется платить, сколъкие останутся на обочине, больные и никому не нужные, ожесточатся и станут платить злом за зло, бросать своих детей, спиваться…

Я перевела бы название этой книги «Вспоминая моих несчастных блядушек», потому что ни одно другое слово из этого ряда не передает боли автора, заключенной в сочетании «putas tristes».

И все-таки эта книга – о любви.

Прекрасная и гибельная любовь настигает героя на пороге небытия. Она наполняет его существование смыслом, открывает ему иное видение привычных вещей и вдыхает живое тепло в его ставшую холодным ремеслом профессию.

И еще эта книга – о старости. О той поре, когда желания еще живы, а силы уже на исходе, и человеку остается последняя мудрость – увидеть без прикрас и обманных иллюзий всю красоту, жестокость и невозвратную быстротечность жизни.

Л. Синянская

1

В день, когда мне исполнилось девяносто лет, я решил сделать себе подарок – ночь сумасшедшей любви с юной девственницей. Я вспомнил про Росу Кабаркас, содержательницу подпольного дома свиданий, которая в былые дни, заполучив в руки свеженькое, тотчас же оповещала об этом своих добрых клиентов. Я не соблазнялся на ее гнусные предложения, но она не верила в чистоту моих принципов. А кроме того, мораль – дело времени, говаривала она со злорадной усмешкой, придет пора, сам увидишь. Она была чуть моложе меня, и я много лет ничего о ней не слышал, так что вполне могло случиться, что она уже умерла. Но при первых же звуках я узнал в телефонной трубке ее голос и безо всяких предисловий выпалил:

– Сегодня – да.

Она вздохнула: ах, мой печальный мудрец, пропадаешь на двадцать лет и возвращаешься только за тем, чтобы попросить невозможное. Но тут же ее ремесло взяло верх, и она предложила мне на выбор полдюжины восхитительных вариантов, но увы – да, все бывшие в употреблении. Я стоял на своем, это должна быть девственница и именно на сегодняшнюю ночь. Она встревоженно спросила: А что ты собираешься испытать? Ничего, ответил я, раненный в самое больное, я сам хорошо знаю, что могу и чего не могу. Она невозмутимо заметила, что мудрецы знают все, да не все: единственные Девы, которые остались на свете, это – вы, рожденные в августе под этим знаком. Почему ты не известил меня заранее? Вдохновение не оповещает, сказал я. Но может и подождать, сказала она, всегда знающая все лучше любого мужчины, и попросила, нельзя ли дать ей хотя бы дня два, чтобы хорошенько прозондировать рынок. Я совершенно серьезно возразил ей, что в таких делах, как это, в моем возрасте каждый час идет за год. Нельзя, так нельзя, сказала она без колебаний, но ничего, так даже интереснее, черт возьми, я позвоню тебе через часик.

Этого я мог бы и не говорить, потому что это видно за версту: я некрасив, робок и старомоден. Но, не желая быть таким, я пришел к тому, что стал притворяться,

будто все как раз наоборот. До сегодняшнего рассвета, когда я решил сказать сам себе, каков я есть, сказать по собственной воле, хотя бы просто для облегчения совести. И начал с необычного для меня звонка Росе Кабаркас, потому что, как я теперь понимаю, это было началом новой жизни в возрасте, когда большинство смертных, как правило, уже покойники.

Я живу в доме колониального стиля, на солнечной стороне парка Сан-Николас, где и провел всю жизнь без женщины и без состояния; здесь жили и умерли мои родители, и здесь я решил умереть в одиночестве, на той же самой кровати, на которой родился, в день, который, я хотел бы, пришел не скоро и без боли. Мой отец купил этот дом на распродаже, в конце XIX века, нижний этаж сдал под роскошную лавку консорциуму итальянцев, а второй этаж оставил для себя, чтобы жить там счастливо с дочерью одного из них, Флориной де Диос Каргамантос, прекрасно исполнявшей Моцарта, полиглоткой и гарибальдийкой и к тому же самой красивой женщиной с потрясающим свойством, какого не было ни у кого во всем городе: она была моей матерью.

Дом просторный и светлый, с гипсовыми оштукатуренными арками и полами, набранными флорентийской мозаикой с шахматным узором; четыре застекленные двери выходят на балкон, который опоясывает дом, куда моя мать мартовскими вечерами выходила со своими итальянскими кузинами петь любовные арии. С балкона виден парк Сан-Николас, собор и статуя Христофора Колумба, еще дальше – винные подвалы на набережной, а за ними – широкий простор великой реки Магдалены, разлившейся в устье на двадцать лиг. Единственное неудобное в доме, что солнце в течение дня поочередно входит во все окна, и приходится занавешивать их все, чтобы в сиесту попытаться заснуть в раскаленной полутьме. Когда в тридцать два года я остался один, я перебрался в комнату, которая была родительской спальней, открыл проходную дверь в библиотеку и начал распродавать все, что было мне лишним для жизни, и оказалось, что почти все, за исключением книг и пианолы с валиками.

Сорок лет я работал составителем новостей в «Диарио де-ла-Пас», работа заключалась в том, чтобы на понятном местному населению языке расписывать мировые новости, которые мы перехватывали на лету в небесном пространстве на коротких волнах или по азбуке Морзе. Сегодня я скорее выживаю, чем живу на пенсию за то уже умершее занятие; еще меньше мне дает преподавание латинской и испанской грамматики, почти совсем ничего – воскресные заметки, которые я строчу без устали вот уже более полувека, и совсем ничего – коротенькие заметочки о музыке и театре, которые я публикую задаром каждый

раз, когда сюда приезжают знаменитые исполнители. Я никогда не занимался ничем другим, только писал, но у меня нет ни писательских способностей, ни призвания к этому, я совершенно не знаю законов драматургической композиции и ввязался в это дело только лишь потому, что верю в силу знания, которое черпал из множества за жизнь прочитанных книг. Грубо говоря, я – последыш рода, без достоинств и блеска, которому нечего было бы оставить потомкам, если бы не то, что со мной случилось и о чем я рассказываю в этих воспоминаниях о моей великой любви.

О своем дне рождения в день девяностолетия я вспомнил, как всегда, в пять утра. Единственным делом на этот день, пятницу, у меня была подписная статья для публикации в воскресенье в «Диарио де-ла-Пас». Утренние симптомы были идеальны для того, чтобы не чувствовать себя счастливым: кости болели с самого рассвета, в заднем проходе жгло, да еще грохотал гром после трех месяцев засухи. Я помылся, пока готовился кофе, потом выпил чашку кофе, подслащенного пчелиным медом, с двумя лепешками из маниоки, и надел домашний льняной костюм.

Темой статьи в тот день, конечно же, было мое девяностолетие. Я никогда не думал о возрасте как о дырявой крыше, мол, видно, сколько уже протекло и сколько жизни осталось. Ребенком я услышал, что когда человек умирает, вши, гнездившиеся в его волосах, в ужасе расползаются по подушке, к стыду близких. Это так поразило меня, что я дал остричь себя наголо, когда пошел в школу, а ту жиденькую растительность, которая у меня осталась, я мою свирепым мылом, каким моют собак. Другими словами, как я теперь понимаю, с детских лет чувство стыда перед людьми у меня сформировалось лучше, чем представление о смерти.

Уже несколько месяцев я думал о том, что моя юбилейная статья будет не общепринятым стенанием по поводу ушедших лет, но восславлением старости. Я начал с того, что стал вспоминать, когда я понял, что уже стар, и вышло, что совсем незадолго до этого дня. Мне было сорок два года, когда заболела спина, стало трудно дышать, и я пошел к врачу. Врач не придал этому значения. Это нормально для вашего возраста, сказал он.

– В таком случае, – сказал я ему, – ненормален мой возраст.

Врач улыбнулся мне с жалостью. Я вижу, вы философ, сказал он. Тогда я в первый раз подумал о старости применительно к своему возрасту, но потом

довольно скоро об этом забыл. Я привык просыпаться каждый день с какой-нибудь новой болью, годы шли, и каждый раз болело иначе и в ином месте. Иногда казалось, это стучится смерть, а на следующий день боли как не бывало. Именно в ту пору кто-то сказал, что первый симптом старости – человек начинает походить на своего отца. Я, должно быть, приговорен к вечной молодости, подумалось мне тогда, потому что мой лошадиный профиль никогда не станет похожим на жесткий карибский профиль моего отца, ни на профиль моей матери, профиль римского императора. Дело в том, что первые изменения проявляются так медленно, что они почти незаметны, и человек продолжает видеть себя изнутри таким, каким он был, а другие, глядя на него извне, замечают изменения.

На пятом десятке я начал понимать, что такое старость, когда заметил первые провалы в памяти. Я шарил по дому в поисках очков, пока не обнаруживал, что они на мне, или залезал в очках под душ, а то надевал очки для чтения, не сняв очков для дали. Однажды я позавтракал второй раз, забыв, что уже завтракал, и заметил, как встревожились друзья, когда я рассказал им то же самое, что уже рассказал неделей раньше. К тому времени в памяти у меня был список знакомых лиц и другой – с именами каждого из них, но в тот момент, когда я здоровался, у меня не получалось соединить лица с именами.

В сексуальном плане возраст никогда меня не заботил, потому что мои возможности зависели не столько от меня, сколько от женщины, – они знают и как, и почему, когда хотят. Сегодня мне смешны восьмидесятилетние мальчишки, которые, чуть какой-нибудь срыв, испуганно бегут к врачу, не зная, что в девяносто будет еще хуже, но станет уже не важно: этот риск – расплата за то, что ты жив. И торжество жизни как раз в том, что память стариков не удерживает вещи несущественные, и лишь очень редко изменяет нам в по-настоящему важном. Цицерон выразил это одной фразой: «Нет такого старика, который бы забыл, где спрятал сокровище».

Этими размышлениями и еще некоторыми я закончил первый черновик своих записок, когда августовское солнце брызнуло сквозь миндалевые деревья парка, и речной почтовый пароход, задержавшийся на неделю из-за засухи, с ревом вошел в портовый канал. Я подумал: вот они, вплывают мои девяносто лет. Я не могу сказать, почему, и никогда этого не узнаю, но, наверное, это было вроде заклятия против все сокрушающего воспоминания, когда я решил позвонить Росе Кабаркас, чтобы она помогла мне в честь моего юбилея устроить разнузданную ночь. Я уже годы жил в мире со своим телом, блуждая по

страницам моих любимых (читанных и перечитанных) латинских авторов и погружаясь в классическую музыку, но в тот день меня охватило такое желание, что я счел его знаком Божьим. После телефонного разговора я уже не мог писать. Я повесил гамак в том углу библиотеки, куда по утрам не заходит солнце, и лег, а грудь теснило мучительное ожидание.

Я был избалованным ребенком у мамы, разносторонне одаренной и в пятьдесят лет сгинувшей от чахотки, и у отца, очень правильного, который ни разу в жизни не совершил ни единой ошибки и умер на рассвете в своей вдовьей постели в день, когда был подписан Неерландский пакт, положивший конец Тысячедневной войне и еще множеству гражданских войн прошлого века. Мир изменил город совершенно неожиданно и нежеланно. Толпы свободных женщин, как в бреду, заполонили старые винные погребки на Широкой улице, ставшей потом улицей Абельо, а теперь – проспектом Колумба, в этом столь милом моему сердцу городе, который любят и свои и чужие за добрый нрав местных жителей и ясный свет.

Никогда ни с одной женщиной я не спал бесплатно, а в тех редких случаях, когда имел дело не с профессионалками, я все равно добивался, убеждением или силой, чтобы они взяли деньги, пусть даже выкинут потом на помойку. В двадцать лет я начал вести им счет, записывал имя, возраст, место встречи и вкратце – обстоятельства и стиль. К пятидесяти годам я записал пятьсот четырнадцать женщин, с которыми был хотя бы один раз. И перестал записывать, когда тело уже было не способно на такую прыть, и я мог продолжать счет без бумажки, в уме. У меня была своя этика. Я никогда не участвовал ни в групповухах, ни в прилюдных совокуплениях, никогда ни с кем не делился секретами и никому не рассказывал о приключениях своего тела или души, ибо с юных лет знал, что ни то ни другое не остается безнаказанным.

Единственная странная связь длилась у меня годы с верной Дамианой. Она была почти девочкой, с индейской кровью, крепкая и диковатая, говорила коротко и решительно и по дому ходила босой, чтобы не беспокоить меня, когда я пишу. Помню, я лежал в гамаке, в коридоре, читал «Андалузскую стать» и случайно увидел, как она наклонилась над стиркой, и коротенькая юбчонка задралась, обнажив ее аппетитные подколенки. Меня ударило в жар, я набросился на нее, поднял, сдернул ей до колен панталоны и пробуравил ее сзади. Ай, сеньор, жалобно всхлипнула она, это не для входа, это для выхода. Дрожь сотрясла ее тело, но она выстояла. Почувствовав себя униженным от того, что унизил ее, я хотел заплатить ей в два раза больше, чем тогда стоили самые дорогие, но она

не взяла ни очаво[1 - Мелкая колумбийская монета. – Здесь и далее примеч. пер.], так что мне пришлось увеличить ей жалованье с тем, что раз в месяц я буду пользовать ее, когда она стирает белье, и всегда – сзади.

Как-то я подумал, что эта постельная арифметика могла бы стать крепкой основой для повествования о моей заблудшей жизни, и название мне словно с неба упало: «Вспоминая моих несчастных…» Моя публичная жизнь, наоборот, была мало интересна: сирота, ни отца, ни матери, холостяк без будущего, заурядный журналист, четырежды финалист на Цветочных играх в Картахене-де-Индиас, и излюбленный объект карикатуристов в силу моей беспримерной некрасивости. Короче: пропащая жизнь, и пошла она скверно с того самого дня, когда мать отвела за руку меня, девятнадцатилетнего, в «Диарио де-ла-Пас» – не напечатают ли мою хронику школьной жизни, которую я написал на уроке испанского языка и риторики. Ее напечатали в воскресном номере с многообещающим директорским предисловием. Годы спустя, когда я узнал, что мать заплатила за ту публикацию и за семь последующих, мучаться стыдом было поздно, моя еженедельная колонка к тому времени обрела собственные крылья и, кроме того, я уже был составителем новостей и музыкальным критиком.

Как только я получил степень бакалавра и диплом с отличием, я начал преподавать испанский и латынь сразу в трех колледжах. Я был плохим учителем, без надлежащего образования, без призвания и без капли жалости к несчастным детям, для которых школа – самый легкий способ уйти от тирании родителей. Единственное, что я мог для них сделать, – это постоянно держать под страхом моей деревянной линейки, чтобы они вынесли из моих уроков, по крайней мере, мои любимые поэтические строки: Все, что ты видишь ныне, Фабио, о, горе, унылый холм, долина в запустенье, в былые дни звалось Италикою славной. Только состарившись, я случайно узнал гнусное прозвище, каким мои ученики называли меня за моею спиной: Унылый Холм.

Вот и все, что дала мне жизнь, а я ничего не сделал, чтобы извлечь из нее больше. Я обедал один в перерыве между уроками, и в шесть приходил в редакцию ловить сигналы в межзвездном пространстве. А в одиннадцать вечера, когда редакция закрывалась, начиналась моя настоящая жизнь. Два или три раза в неделю я проводил ночь в Китайском квартале, да в таком разнообразном обществе, что дважды был коронован как клиент года. Поужинав в ближайшем кафе «Рим», я наугад выбирал какой-нибудь бордель и входил в него тайком, через черный ход. Я ходил туда ради удовольствия, но со временем

это стало частью моей работы, поскольку в этом заведении у политических бонз развязывались языки, и они выкладывали своим любовницам на одну ночь государственные тайны, не думая о том, что сквозь картонные перегородки их слушает широкая общественность. Этим же путем, а как же иначе, я узнал, что мою безутешную холостяцкую жизнь объясняют пристрастием к педерастии, которую я удовлетворяю посредством мальчиков-сироток с улицы Кармен. Мне посчастливилось забыть это, как и многое другое, поскольку там же я услышал о себе и много хорошего и оценил это по достоинству.

У меня никогда не было близких друзей, а те немногие, которым удалось приблизиться, уже были в Нью-Йорке. Другими словами, умерли, потому что именно туда, полагаю, отправляются скорбящие души, чтобы не пережевывать правду своей прошедшей жизни. После того как я вышел на пенсию, дел у меня стало немного, по пятницам во второй половине дня отнести статью в газету, и еще некоторые довольно важные занятия: концерты в зале Общества изящных искусств «Белльас Артес», выставки живописи в Художественном центре, где я – член-основатель, лекция в Обществе общественного благоустройства, а то и какое-нибудь крупное событие вроде показа фильмов Фабрегаса в театре «Аполо». В молодости я ходил в кинотеатры под открытым небом, где с одинаковым успехом можно было как наблюдать лунное затмение, так и подхватить двухстороннее воспаление легких под внезапным ливнем. Но куда больше фильмов меня интересовали ночные пташки, отдававшиеся по цене входного билета, а то и даром или же в долг. Короче говоря, кино – не мой жанр. А культ непристойности Ширли Темпл и вовсе стал последней каплей, переполнившей чашу.

Путешествовал я всего четыре раза – на Цветочные игры в Картахену-де-Индиас, когда мне еще не было и тридцати, – да еще однажды плыл целую скверную ночь на моторке в Санта-Марию по приглашению Сакраменто Монтьеля на торжественное открытие его борделя. Что касается моей домашней жизни, то ем я мало и непривередлив. Когда Дамиана состарилась, она перестала приходить готовить, и с тех пор моей постоянной едой стала картофельная тортилья[2 - Запеканка.] в кафе «Рим» после закрытия редакции.

Итак, в канун своего девяностолетия, ожидая звонка Росы Кабаркас, я не стал обедать и никак не мог сосредоточиться на чтении. В два часа по полудни в адской жаре оглушительно трещали цикады, и солнце катило в открытые окна, так что мне пришлось трижды перевешивать гамак. Мне всегда казалось, что день моего рождения – самый жаркий в году, и я свыкся с этим, но в тот день

выносить жару не было сил. В четыре часа я попытался успокоиться с помощью шести сюит для виолончели Иоганна Себастьяна Баха, в исполнении Пабло Касальса. Я считаю их самым мудрым, что есть в музыке, однако вместо того, чтобы, как обычно, успокоить, они ввергли меня в состояние тяжелейшей прострации. Я задремал на второй, которая кажется мне немного суматошной, и во сне жалоба виолончели смешалась с тоскливым гудком отчалившего судна. И почти тотчас же я проснулся от телефонного звонка, и ржавый голос Росы Кабаркас вернул меня к жизни. Везет дуракам, сказала она. Я нашла курочку, даже лучше, чем ты хотел, но с одной закавыкой: ей только-только четырнадцать. Ничего, я поменяю ей пеленки, пошутил я, не поняв, к чему она клонит. Да не в тебе дело, сказала она, а кто мне оплатит три года тюрьмы?

Никто и ничего не должен был платить, а она – и подавно. Она собирала свой урожай именно на малолетках, они были товаром в ее лавке, у нее они делали свой первый шаг, а потом она жала из них сок до тех пор, пока они не переходили к более суровой жизни дипломированных проституток в знаменитый бордель Черной Эуфемии. Она никогда не платила штрафов, потому что ее дом был аркадией для местных властей, начиная губернатором и кончая последней канцелярской крысой из мэрии, и трудно было вообразить, что хозяйке этого заведения не хватает власти, чтобы нарушать закон в свое удовольствие. Так что ее запоздалые угрызения, по-видимому, означали всего лишь намерение выгоднее продать свои услуги: тем дороже, чем опаснее. Затруднение было улажено с помощью двух дополнительных песо, и договорились, что в десять часов я приду в ее дом с пятью песо наличными и уплачу вперед. И ни минутой раньше, потому что девочка должна прежде накормить и уложить младших братьев и приготовить ко сну разбитую ревматизмом мать.

Оставались четыре часа. По мере того как они шли, сердце мое наполнялось едкой пеной, от которой трудно было дышать. Я сделал тщетное усилие укротить время процедурой одевания. Ничего особенного, разумеется, уж если даже Дамиана говорит, что одеваюсь я как сеньор епископ. Я побрился опасной бритвой, и пришлось подождать в душе, пока сойдет горячая вода, нагретая в трубах солнцем, но пока вытирался полотенцем, снова вспотел. Я оделся в соответствии с предстоящим мне ночью событием: белый полотняный костюм, рубашка в синюю полоску с крахмальным воротником, галстук китайского шелка, штиблеты, подновленные цинковыми белилами, и часы червонного золота на цепочке, застегнутой в петлице лацкана. И под конец подвернул внутрь обшлага брюк, чтобы не было заметно, что я стал ниже на пядь.

Я слыву скрягой, потому что никто не может и представить себе, как я беден, раз я живу там, где живу, но, по правде говоря, такая ночка, как эта, была мне не по карману. Из сундучка под кроватью, где я хранил свои накопления, я достал два песо для уплаты за комнату, четыре – для содержательницы притона, три – для девочки и пять – себе на ужин и другие мелкие расходы. Другими словами, те самые четырнадцать песо, которые мне платит газета в месяц за мои воскресные заметки. Спрятал их в потайной карман на поясе и опрыскал себя одеколоном «Агуа де Флорида» фирмы «Lanman and Kemp-Barclay and Co.» И тут ужас накатил на меня, но при первом же ударе колокола, отбивавшего восемь часов, я, потный от страха, в темноте, на ощупь, спустился по лестнице и вышел в сияющую ночь больших ожиданий.

На улице посвежело. На проспекте Колумба, меж застывшей на середине проезжей части шеренги порожних такси, мужчины, сбившись в группки, на крик спорили о футболе. Медный духовой оркестрик наигрывал вальс в аллее из цветущих олеандров-крысоморов. Несчастная проститутка, из тех, кто охотится за солидным клиентом на улице Нотариусов, как всегда, попросила у меня сигаретку, и я ответил ей, как всегда: бросил курить вот уже тридцать три года два месяца и семнадцать дней назад. Проходя мимо «Золотого Колокольчика», я посмотрелся в освещенную витрину и увидел себя не таким, каким ощущал, а намного более старым и скверно одетым.

Незадолго до десяти я взял такси и попросил шофера отвезти меня к Общему кладбищу, чтобы он не понял, куда я на самом деле направляюсь. Он поглядел на меня в зеркальце и, развеселившись, сказал: Не пугайте меня так, мудрый дон, дай Бог мне быть таким живым, как вы.

Мы вместе вышли из машины напротив кладбища, потому что у него не было сдачи, и пришлось разменять деньги в «Могиле», захудалой закусочной, где загулявшие до рассвета пьянчужки оплакивают своих дорогих покойников. Когда мы рассчитались, шофер очень серьезно сказал: Будьте осторожны, дон, дом Росы Кабаркас уже давно не тот, что был раньше. Мне не оставалось ничего, как поблагодарить его, свято уверовав, как и все, что нет под солнцем такого секрета, которого бы не знали таксисты с проспекта Колумба.

Я вошел в квартал бедноты, который не имел ничего общего с тем, каким я его знал в мое время. Те же самые широкие раскаленные песчаные улицы, дома с распахнутыми дверями, стены из неструганых досок, крыши из листьев горькой пальмы и посыпанные щебенкой внутренние дворики. Но здешние обитатели

забыли, что такое тишина и покой. В большинстве домов гудело пятничное веселье, музыканты своими барабанами и тарелками сотрясали домишки. Кто угодно мог за пятьдесят сентаво войти в любую дверь, но мог наплясаться до упаду и перед дверью, на улице. Я шел и мечтал провалиться сквозь землю в этом моем хлыщеватом костюме, но никто и не заметил меня, кроме тощего мулата, дремавшего на пороге дома.

– С Богом, почтенный, – приветствовал он меня сердечно. – Счастливо перепихнуться!

Что я мог ответить ему? Только поблагодарить. Мне пришлось останавливаться три раза, чтобы перевести дух, прежде чем я добрался до верха. И оттуда увидел огромную медную луну, поднимавшуюся на горизонте, но тут у меня схватило живот, я испугался, однако обошлось. В конце улицы, где квартал переходит в сплошные заросли фруктовых деревьев, я вошел в лавку Росы Кабаркас.

Эта была уже не та Роса Кабаркас. Раньше это была мама-сан, бандерша самая осмотрительная, а потому самая известная. Женщина огромных размеров, мы даже хотели возвести ее в чин сержанта пожарной службы, как за ее могучее телосложение, так и за ту ловкость, с какой она справлялась с любовными пожарами в своем приходе. Но одиночество съежило ее тело, сморщило кожу и истончило голос так, что она стала похожа на старенькую девочку. От прежней у нее остались только великолепные зубы, и один из них она из кокетства одела в золотую коронку. Она носила глубокий траур по мужу, скончавшемуся после пятидесяти лет совместной жизни, и этот траур дополнила черной траурной шляпкой – по единственному сыну, который помогал ей в ее хлопотных делах. Живыми оставались только глаза, прозрачные и жестокие, и по ним я понял, что в сути своей она не изменилась.

В лавке на стене еле светилась слабая лампочка, и на полках не видно было никаких товаров, хотя бы для прикрытия ее такого расхожего промысла, о котором все знали, но которого никто не признавал. Роса Кабаркас провожала клиента, когда я тихонько вошел. Не знаю, на самом ли деле она не узнала меня, или притворилась, чтобы соблюсти видимость. Я сел на скамью в ожидании, когда она освободится, и попытался восстановить в памяти, как все было. Пару раз, когда мы оба еще были в соку, она сама выручала меня в трудную минуту. Наверное, она прочла мои мысли, потому что обернулась и посмотрела на меня так пристально, что я забеспокоился. Время тебя не коснулось, вздохнула она

грустно. Я решил польстить ей: А тебя – коснулось, но к лучшему. Я серьезно, сказала она, у тебя даже немного оживилась твоя физиономия дохлой лошади. Может, потому, что я стал пастись в других домах, подколол я ее. Она встрепенулась. Насколько я помню, кувалда у тебя была отменная. Как она себя ведет нынче? Я ушел от ответа: Единственно, что изменилось с тех пор, как мы не виделись, это что иногда у меня жжет зад. Диагноз она поставила немедленно: Мало им пользуешься. Он у меня только для того, для чего его создал Бог, ответил я, но, по правде сказать, это уже довольно давно и всегда в полнолуние. Роса где-то порылась и достала маленькую коробочку с зеленой мазью, пахнувшую арникой. Скажешь девочке, чтобы она пальчиком помазала тебе вот так, и она для ясности непристойно подергала указательным пальцем. Я ответил ей, что пока еще, слава Богу, могу обходиться и без ее знахарских притираний. Она съязвила: Ах, маэстро, прости великодушно. И перешла к делу.

Девочка находится в комнате с десяти часов, сказала она; девочка красивая, чистая, хорошо воспитана, но умирает от страху, потому что одна ее подружка, убежавшая с грузчиком из Гайры, два часа истекала кровью. Но оно и понятно, допустила Роса, у этих, из Гайры, такая слава, они ослиц дерут. И вернулась к делу: Бедняжке, кроме всего, приходится еще и горбатиться на фабрике, пришивать пуговицы. Мне не показалось, что это такое уж тяжелое занятие. Так думают мужчины, возразила она, это еще хуже, чем дробить камень. И еще она призналась, что дала девочке питье – валериановку с бромидом, и та сейчас спит. Я подумал, что эти жалостливые сетования – еще одна уловка, чтобы поднять цену, но нет, сказала она, мое слово – золото. И твердое правило: за каждую услугу – плата отдельная, звонкой монетой и вперед. Вот так.

Я пошел за ней через двор, размягчившись видом ее увядшей кожи и тем, как трудно она переступала распухшими ногами в простых хлопчатобумажных чулках. Полная луна добралась до центра неба, и мир казался погруженным в зеленые воды. Неподалеку от ее дома был устроен помост из пальмовых ветвей для музыкантов, приглашаемых городскими властями, вокруг стояло множество табуретов с кожаными сиденьями, висели гамаки. Во двор, за которым начинались заросли фруктовых деревьев, выходила галерея из небеленого кирпича с шестью спальнями и окошками, затянутыми сеткой от птиц. Единственная занятая комната тонула в полумраке, и Тоня-Негритянка по радио пела о несчастной любви. Роса Кабаркас перевела дух: Болеро – это сама жизнь. Я был с ней согласен, но до сего дня не решался этого написать. Она толкнула дверь, вошла в комнату и тут же вышла. Все еще спит, сказала она. Хорошо сделаешь, если дашь ей поспать вдоволь, сколько просит ее тело, твоя ночь длиннее, чем ее. Я был в замешательстве: А что, по-твоему, я должен делать?

Сам поймешь, сказала она с неподходящей случаю невозмутимостью, на то ты и мудрец. Она повернулась ко мне спиной и оставила меня наедине с ужасом.

Бежать было некуда. Я вошел в комнату, – сердце готово было выскочить из груди, – и увидел спящую девочку, голую, в чем мать родила, такую неприкаянную, на огромной, чужой постели. Она лежала на боку, лицом к двери, освещенная ярким верхним светом, не скрывавшим ни одной подробности. Я сел на край кровати и, завороженный, смотрел на нее, впитывал всеми пятью чувствами. Она была смуглая и тепленькая. Ее, видно, готовили, мыли и прихорашивали, от макушки до нежного пушка на лобке. Завили волосы, ногти на руках и ногах покрыли лаком натурального цвета, но кожа медового оттенка была обветренной и неухоженной. Грудки, только-только наметившиеся, были еще похожи на мальчишеские, но чувствовалась в них готовая вот-вот брызнуть скрытая энергия. Самое лучшее в ней были ноги, наверное, мягко ступавшие, с длинными и чувственными пальцами, как на руках. Даже под работавшим вентилятором она вся светилась капельками пота, жара к ночи стала совсем невыносимой. Невозможно было представить себе ее лицо под густым слоем рисовой пудры, густо накрашенное, с двумя пятнышками румян, накладными ресницами, черненими бровями и веками и с губами, щедро размалеванными помадой шоколадного цвета. Но ни одежда, ни косметика не могли скрыть ее характера: гордо очерченный нос, сросшиеся брови, хорошо вылепленный рот. Я подумал: нежный боевой бычок.

В одиннадцать я пошел по моим обычным делам в ванную комнату, где она оставила свою жалкую одежонку, но разложила ее на стуле так, словно это был богатый наряд: платьице из синтетической ткани в бабочках, желтые мадаполамовые трусики, веревочные сандалии. Поверх одежды лежал дешевенький браслет и тонкая цепочка с изображением Пресвятой Девы на медальоне. Тут же, на полке, лежала сумочка с губной помадой, румянами, ключом и мелкими монетами. Все такое дешевое, стертое и заношенное, я и представить себе не мог такую бедность.

Я разделся и постарался повесить вещи на вешалку так, чтобы не помялась шелковая рубашка и отутюженный полотняный костюм. Помочился в унитаз под сливным бачком с цепочкой, помочился сидя, как меня, еще ребенка, научила Флорина де Диос, чтобы не пачкать края горшка, и – к чему скромничать – струя была тугой и ровной, как у вольного жеребца. Прежде чем выйти, я посмотрелся в зеркало над раковиной. Лошадиная морда, которая глянула на меня из зеркала, не была дохлой, но была мрачной, с отвисшим подбородком, как у Папы

Римского, набрякшими веками и жиденькой растительностью, которая когда-то была буйной гривой музыканта.

– Дерьмо, – сказал я ему. – Что я могу поделать, если ты меня не любишь?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Мелкая колумбийская монета. – Здесь и далее примеч. пер.

2

Запеканка.

Купить: https://tellnovel.com/gabriel-markes/vspominaya-moih-neschastnyh-shlyushek-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити